ЮРИЙ НАГИБИН

НАУКА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Цикл рассказов голландского писателя Боба ден Ойла, опубликованный в «Иностранной литературе» в 1975 году, показался Ю. Нагибину превосходным чтением.

Оказавшись в Голландии, советский писатель не преминул свести с ним знакомство и написать его литературный портрет.

- Юрий Маркович Нагибин
  - ○

Юрий Маркович Нагибин
Голландия Боба ден Ойла

Литературный портрет

Недавно я обнаружил миновавший меня каким-то образом номер «Иностранной литературы» за 1975 год. Я получаю журнал по подписке и всегда внимательно просматриваю, а этот номер не был на глазах. Потом я вспомнил, что в пору его выхода находился на БАМе, журнал, верно, куда-то запропастился, а в нужный срок сам пришел в руки. Так нередко бывает с пропавшими вещами. Схоронившись невесть где в обжитом, лишенном укромий доме, они сами выбирают момент для возвращения.

Листая журнал, я наткнулся на фотографию человека средних лет с вытянутым лицом, большим, тяжелым носом, слабым ртом, изломанными бровями и длинными баками. Рядом крупным шрифтом его имя, звонкое, как цокот копыт по мостовой: Боб ден Ойл. Писатель был представлен циклом рассказов, первый назывался «Крабы в консервной банке». Название мне понравилось.

Я не принадлежу к всеядным читателям, которые, словно осы на варенье, набрасываются на каждую журнальную публикацию, на каждое новое имя. У меня первое движение — отгородиться, защититься от неподготовленных, необязательных впечатлений, которые чаще всего лишь по-пустому отнимают время и душевные силы. А и того и другого осталось не так много. За прожитую жизнь скопилось немало книг, которые хочется вновь и вновь перечитывать.

Мне кажется, что у определенной возрастной черты, если книги для тебя не просто заполнение досуга, не развлечение вроде телевизора, надо ставить дверь на запор и новых посетителей либо вовсе не впускать, либо — по самому строгому отбору. В одном Пушкине таятся такие глубины, что не хватит жизни добраться до дна. И все же трудно писателю решиться на это справедливое дело, ведь надо знать, что делается в литературе, и не из праздного любопытства и самолюбивого беспокойства, а ради профессиональной ориентировки: как и какими средствами отражается миг сегодняшнего бытия в искусстве, чьим материалом является слово.

Где взять на все время? И поневоле задумаешься: не лучше ли еще раз перечитать «Смерть Ивана Ильича», «Лику», «В сторону Свана», чем тешить беса любопытства новым романом модного автора или рассказами таинственного незнакомца.

Вот почему я колебался: открывать ли консервы Боба ден Ойла или перемочь пробудившийся интерес. И тут я впервые задумался над тем, что почти не знаю голландской литературы. Ну, в отрочестве мне попадались романы популярного в двадцатые годы Мультатули, после войны я читал «Рыжеволосую девушку» и «Рембрандта» Тойна де Фриса, а что еще? Потрясающий дневник Анны Франк — больше чем литература. Тиль Уленшпигель изъят из тьмы веков пером бельгийца Шарля де Костера, хотя исторически он принадлежит Голландии в такой же мере, как и Бельгии.

Были еще «Серебряные коньки», на которых воспитывалось мое поколение, но написана эта книжка канадской писательницей. И слабо светит в памяти хрестоматийный голландский мальчик, который заткнул пальцем прохудившуюся плотину и тем спас свой край от затопления. Небогато!

Мое представление о Голландии создано не книгами, а великой живописью Иеронима Босха, Брейгеля, Вермеера Дельфтского, Франса Хальса, чудесных жанристов во главе с Остаде и Терборхом, мастеров натюрморта во главе с печально-изысканным Хедой. Я сознательно не назвал здесь Рембрандта. Несравненный, он не идет в строку, не ложится в перечень. Уверен, творец довольно потирал ладони и поздравлял себя с удачной мыслью завести хозяйство: небо и землю, твердь и воды, растения и животных — и увенчать творческий взлет сотворением по образу и подобию своему Человека, когда зажатая в твердой руке кисть Рембрандта вдохновенно билась в тугое натяжение холста.

Чувство вины перед голландской литературой решило дело: я стал читать Боба ден Ойла, и это оказалось превосходным чтением.

Признаться, от человека, каким он выглядел на фотографии, я ожидал благопристойного реалистического, весьма заземленного письма. Я попал в полупризрачный мир не голландской даже, а общечеловеческой обыденности, которая вдруг взрывается вторжением некоего малого обстоятельства, настолько невероятного, необъяснимого и произвольного, что мысленно пасуешь перед ним и принимаешь безропотно. В данном случае такой вот малостью оказалось внезапно изменившееся выражение лица мелкого служащего очень большой и важной компании, производящей консервы из крабов,

Яхека — имя-то какое неупругое, дряблое — произносишь, и будто вата под языком.

Этот Яхек брился перед уходом на работу и уже стирал остатки пены со щек, как вдруг с ужасом обнаружил, что его безвольный, неправильной формы рот скривился, от чего лицо стало жестоким, безжалостным и решительным. И что бы ни делал бедный Яхек, он не мог вернуть своим чертам прежнее выражение бессильной доброты, столь соответствующее его внутренней сути.

И начинается фантасмагория. Кроткого Яхека вовсе не радует гримаса силы, исказившая его черты. Ему, чуждому всякого честолюбия, и в голову не приходит, какие преимущества можно извлечь из угрожающе и презрительно опустившегося уголка рта. Но окружающие не остаются слепы к перемене, происшедшей в облике конторского мышонка. Наглые и бесцеремонные, они склоняются перед знаком грубой, ни с чем не считающейся силы. В мире мнимых ценностей, в мире, где все измерено ложной мерой, взвешено на врущих весах, легко проходит любая подделка (в данном случае вовсе не преднамеренная). Люди вокруг Яхека так слабы, так не уверены в настоящем, а пуще того — в будущем, так непрочны, незащищенны, так не соответствуют — в большинстве своем — занимаемому положению, что готовы склониться перед каждым, в ком видят *власть*. Язвительно-волевой рот Яхека обманывает и приводит к покорности не только сварливую хозяйку меблирашек мефру Камер или склочного соседа, но и служебных боссов: от заведующего отделом рекламы Фоогта до менеера Таке, одного из зачинателей дела. Последний давно спился, выжил из ума, но с ним считаются, ибо Таке владеет значительным пакетом акций. В деловом отношении этот старец такая же мнимость, как Яхек в роли руководителя отстающего филиала компании, а именно на этот высокий пост прочат «волевого человека». И быть бы Яхеку полномочным представителем компании в той африканской дыре, где «обленившиеся негры» не хотят набивать крабами консервные жестянки, не вмешайся случай, абсурд — главная движущая сила мира героев ден Ойла.

Очарованный Яхеком, менеер Таке, явный маразматик и тайный алкоголик, напивается с ним в своем кабинете, на верхнем этаже небоскреба. Он приобщает нового друга к полюбившейся ему забаве: кидать из окна окурки на голову прохожим. Яхек, непривычный к вину, к тому же почуявший в себе властелина чужих судеб — отрава проникла в жидкую кровь маленького человека, — охотно включается в дурацкую игру. В какой-то момент, слишком увлекшись и забыв об осторожности,

оба вываливаются из окна и «вместе начинают свой последний бросок в глубину, вслед за окурками».

Так плачевно заканчивается история неудачника, на миг приблизившегося к власти и успеху. Не по плечу это яхекам — пылинкам больших городов.

Меня всегда интересует элемент личного в произведениях писателя. Не примеривал ли к себе, пусть безотчетно, подсознательно, Боб ден Ойл судьбу Яхека, не мечтал ли он о малом чуде, способном сделать сильным в этом жестоком мире человека с добрым, слабым ртом и ранимой душой художника? Трудно судить всего лишь по трем рассказам и анкетно суховатым сведениям, которые приводятся в конце журнала, в справке об авторе. В скупых строках возникает образ завидного литературного благополучия: первый же сборник рассказов Боба ден Ойла отмечен премией Амстердама как лучшее прозаическое произведение года, следующий сборник — премией Анны Пальмен, гордости голландской литературы. Ох уж эти литературные премии — как часто флером ложного преуспевания обволакивают они образ и судьбу писателя!

А мне не верилось, что Боб ден Ойл благополучный человек, и даже утверждение — в справке — о повышенном и лестном внимании к нему голландских критиков не могло меня переубедить. Почему-то казалось, что этот лауреат и любимец критиков не раз мечтал проснуться с чужим лицом. Но неизменно видел в зеркальце для бритья лишь грустный расплыв мягкого рта, скорбный взлом бровей, и, верно, тогда, чтобы освободиться от смешных надежд, он создал мелкого служащего Яхека, завершившего головокружительным сальто-мортале невольную попытку зажить в чужой шкуре. В этом абсурдном на первый взгляд рассказе очень мало абсурдного, ведь опустившийся уголок рта — лишь символ многих и разных возможностей, равно безнадежных, пробиться в сильные мира сего. Но тому, кто не принял причастия дьявола, путь во власть имущие заказан.

Здесь использован очень распространенный сегодня прием в западной литературе: всего лишь маленькое смещение в сторону от реальности, одна-единственная невероятность, вторгающаяся в нормальное буржуазное бытие, — и сразу обнаруживается тщательно убранная с поверхности абсурдность этого бытия, чудовищность как будто бы вполне обыденных характеров, шаткость, непрочность мнимо незыблемых устоев и общепринятых норм.

Мне думается, приемы условно-фантастического, абсурдного, невероятного в литературе особенно хороши, когда надо оживить выдохшихся героев и замученные многими писательскими

поколениями темы. Слабовольный, забитый маленький чиновник Яхек — это все тот же бессмертный Башмачкин, притащившийся — не за своей ли шинелью? — из старого Петербурга в современную Голландию. Из гоголевской «Шинели», принято считать, вышла вся русская литература девятнадцатого века. Рассказать о Башмачнике сегодняшнем, не перепевая Гоголя, не вгоняя читателя в зевоту, можно лучше всего с помощью фокуса, резкого отстранения темы и образа. Бобу ден Ойлу этот фокус подсказало зеркало, ежеутренне отражающее невыносимую деликатность черт тихого, небойцового человека.

Отлично придуман и отлично выполнен другой рассказ Боба ден Ойла — «Человек без стадного инстинкта». Пассажирский самолет компании «Эр Франс» совершил вынужденную посадку во льдах Гренландии. Рассказчик, человек без стадного инстинкта, уверяет, что иначе и быть не могло, потому что «французские самолеты никуда не годятся», да и чего можно ждать от пилота «с внешностью киногероя тридцатых годов»? Радист погиб, радиоаппаратура вышла из строя, но взгляды потерпевших — покорного человеческого стада — по-прежнему с надеждой обращены к портачу пилоту, который без тени вины или смущения заявляет, что берет на себя ответственность за их целость и сохранность. Рассказчик с нетерпением ждет, когда командир изложит свой план, чтобы поступить наоборот. Пилот осрамился, проявил полную несостоятельность; очевидно, столь же бездарным и губительным будет он и в роли спасителя. Отсюда — сделай прямо противоположное тому, что хочет он, и ты уцелеешь. Логично? Да. Абсурдно? Да. Пилот решает: надо пробираться пешком через ледяную пустыню. Значит, надо остаться у разбитого самолета и никуда не двигаться. Этот смелый вывод кажется настолько убедительным очаровательной Джейн, секретарше богатого старика американца мистера Лейна, что она остается с человеком, лишенным стадного чувства.

Очень и очень нелегко противостоять тому, кто наделен хотя бы призрачной властью, и покорно-агрессивному человечьему стаду, превращающему мнимую власть в истинную, но рассказчик отважился и получил не только относительный комфорт самолетной кабины вместо ледяного ветра пустыни, но и доверчивое тепло милой девушки Джейн. «Чтобы не замерзнуть, мы все теснее прижимались друг к другу, и наконец я почувствовал, что мы обратились в единое целое». Похоже, он получил нечто большее, чем угрев.

А утром прилетел американский военный вертолет, и они были спасены. Но спаслась и та группа, которая послушно ковыляла вслед за пилотом по снежным увалам, — ее заметили с

воздуха. Люди измучились, мистер Лейн был без сознания и не пришел в себя, когда его грузили в вертолет. Парадокс заключается в том, что спастись можно по-разному: и покорно следуя за стадом, и противопоставив себя ему. В данном случае второй способ кажется привлекательнее. Что касается Джейн, то, очнувшись, старый мистер Лейн простил очаровательной секретарше ее предательство.

Он лишь покончил навсегда с путешествиями. Джейн написала об этом приятном событии своему товарищу по несчастью, с которым провела тревожно-упоительную ночь. Больше она не писала. Отсутствие стадного чувства — счастливое свойство, но его мало, чтобы привлечь к себе современную американскую девушку, нужны еще и деньги. Их-то у человека без стадного чувства как раз и не было. А у ничтожного старикашки Лейна были…

В иной тональности выдержан рассказ «Убийца». Начинается он с того, что пожилой, усталый человек, выпивая у стойки неуютного кафе на неуютной, вечно захламленной Ионнхерестраат, вынул из кармана и положил на стойку револьвер вороненой стали. Поступок, согласитесь, требующий некоторых объяснений. И Серейн, так звали владельца револьвера, охотно дал их и встревоженному трактирщику (правильнее — бармену), и угрюмо всполошившимся посетителям.

Оказывается, он — профессиональный убийца. Занялся этим делом в Америке, куда эмигрировал в пору великого кризиса. Но в Америке тоже оказался кризис, и Серейну, любившему «хлеб с маслом», не оставалось ничего другого, как пойти в убийцы. Работал он на гангстерские шайки, устранял неугодных. «Интересная, живая работа, — рассудительно говорит Серейн, — много свободного времени».

Его рассказ производит большое и чрезвычайно благоприятное впечатление на слушателей. Эти маленькие, невзрачные людишки чувствуют себя приобщенными к таинственному, романтическому миру, не подчиненному обычным законам и правилам. Нравственное чувство онемело в добропорядочных обывателях, все с душевным сочувствием внимают отнюдь не покаянной исповеди душегуба.

Заработав достаточно денег, Серейн вернулся на родину и после войны, которую скоротал ночным сторожем в бюро выдачи продовольственных карточек, оказался перед выбором: как жить дальше. Военная дороговизна, инфляция съели весь его нажиток. И тут он вспомнил о своей старой профессии — делать трупы за приличное вознаграждение, благо в Голландии появился спрос на

метких и решительных людей. К сожалению, тут нет гангстерских шаек, располагающих деньгами и адвокатами, бедный убийца предоставлен самому себе и беззащитен перед законом. Серейн нашел выход: он стал брать половину договоренной суммы вперед, а работу делать не до конца. Он выслеживал жертву, устраивал засаду, все честь честью, старательно прицеливался, спускал курок, но револьвер не был заряжен. От клиентов не стало отбоя, ибо каждый обманутый, изнемогая от злобы, спешил порекомендовать его другому нуждающемуся в услугах наемного убийцы, а тот, в свою очередь, — следующему. Оказывается, в тихой Голландии полно людей, которым необходимо избавиться от своих ближних. Вот и сейчас Серейн подстерегает престарелую чету. Волнение и восторг присутствующих достигают высшей точки — не каждый день выпадает удача наблюдать убийцу за работой. До чего же тонок моральный пласт в душах безобидных с виду городских обывателей! Все эти люди, трудящиеся за спиной Серейна, дышащие ему в затылок пивом и можжевеловой водкой, являются, по существу, сообщниками убийцы, ибо молчаливо желают ему удачи. Но они забыли, что револьвер не заряжен. И когда курок щелкает вхолостую, люди разочарованно расходятся по местам. Они ждали большего.

А Серейн мрачно смотрит на скучную, грязную улицу и тоскует по Америке.

Это страшный рассказ. И, дочитав его, я дал себе слово: коль мне приведется быть в Голландии, обязательно разыщу Боба ден Ойла. Очень заинтересовал меня писатель, умеющий облекать жутковатые свои видения в строгую, изящную форму. А попасть в Голландию у меня была возможность с фильмом «Дерсу Узала».

И сбылись мои надежды: я в Голландии. Миновала премьера «Дерсу», и можно целиком посвятить себя поискам Боба ден Ойла. А что мне придется его искать и, быть может, столь же мучительно, сколь совсем недавно Юхана Боргена в Норвегии, для меня было ясно с самого начала. Голландские писатели, как оказалось, плохо знают друг друга.

— Боб ден Ойл? — чуть в нос проговорила маленькая Пенкала, автор содержательных книг о фарфоре, китайском искусстве и менее содержательных, хотя пользующихся спросом романов: о переселении души умершего Гитлера в попугая, о похождениях загадочной княгини Клептоманской. — Впервые слышу!

В свой черед, наконец-то извлеченный на свет божий Боб ден Ойл скажет:

— Как, как?.. Пенкала? Понятия не имею!..

А ведь не так уж необъятна современная голландская

литература. Но нет интереса друг к другу. Каждый обвел себя невидимым кругом, куда допускаются лишь немногие. Нашей широты, чуть неразборчивой (и благословенной), нет и в помине. Никак не могу я привыкнуть к этой разобщенности западных людей.

Правда, все без исключения знают Гуго Клауса, автора скабрезных романов, недавно увенчавшего свою блистательную деятельность на ниве порнографии бракосочетанием с Сильвией Кристаль, исполнительницей роли Эмануэль — героини серии одноименных секс-фильмов.

Кроме Гуго Клауса, на слуху еще три-четыре имени, но о литературе говорят мало, даже те, кто ее делает, о голландской — тем паче.

К тому же Боб ден Ойл оказался жителем Роттердама, а между столицей, где я вел поиски, и крупнейшим портом Голландии (ныне, пожалуй, и всего мира) существует извечное соперничество, особенно усилившееся за последнее время, когда Роттердам так вырос, окреп и мощно погнал тоннели метро во все свои концы. Каково было слышать амстердамцам, что я разыскиваю роттердамского писаку!

Юные стажеры нашего посольства, будущие дипломаты, которые, как положено русским, всё читали и всё знали про голландскую литературу, в два счета нашли автора «Крабов в консервной банке» и доставили в мою «ставку» в Гааге.

Признаться, я ждал Боба ден Ойла с некоторым волнением. Одна фамилия чего стоит! Ойл — это сова, сестра ночи, с изжелта-зелеными прозрачными, слепыми днем и всевидящими во тьме круглыми глазами. Хищница с железными когтями, она избирает своим обиталищем старые заброшенные кладбища. Абсурдная птица!..

И прилетел Боб Сова в мой временный голландский дом и обернулся человеком, таким высоким, что казалось, под брюками у него ходули, и таким худым, что в моей далеко не сентиментальной душе сразу поселился испуг — не унес бы его влажный ветер, обдувающий голландскую площину, возникло желание защитить его, прикрыть, сберечь в мире, опасном, как передний края в час сражения. Ощущение непрочности Боба усугублялось быстрой, какой-то неуправляемой улыбкой, скорее гримасой слабости и доброты, возникавшей из его глубин вопреки отчетливо взятой установке на твердость, мужество и независимость. Он, конечно, очень добрый и наивный человек, что не мешает ни уму, ни проницательности, ни стойкости знающего свою цель таланта. Но это все отдается бумаге, а жизни — нервная сторожкость оленя, растерянная улыбка и великое

терпение бедняка. Он беден в прямом житейском смысле слова, этот отличный писатель, беден посреди распухшей от изобилия страны. Литературный труд очень низко оплачивается в Голландии, он почти бездоходен, если ты не Гуго Клаус — этакий Санта-Клаус XX века с мешком, набитым непристойностями, не автор фантасмагорических романов о княгине Клептоманской, не старый, заслуженный бард, сподобившийся многих переводов на иностранные языки, но последних — раз, два и обчелся. Боб ден Ойл за свою литературную жизнь издал всего шесть книг, а тиражи, естественно, невелики. И если б не работала жена Боба (а это в Голландии считается малопочтенным), то семья просто не сводила бы концы с концами.

Но сейчас обстоятельства изменились: государство наконец-то оценило заслуги талантливейшего новеллиста и назначило ему ежемесячное пособие в размере жалованья школьного учителя. Теперь он может заниматься литературным трудом без тревоги за завтрашний день.

Боб ден Ойл — настоящий мужчина, он напрягается всем своим долгим телом, всей своей гордой душой для самозащиты от сочувствия, упаси боже, от жалости и даже от ничем не обидной симпатии, он готов дать решительный отпор любой бесцеремонной попытке толкнуться в его храм. А ведь он знал, для чего ехал в Гаагу, знал, что ему будет задавать вопросы человек, намеревающийся о нем писать. Но Боб ден Ойл начисто лишен опыта газетной или журнальной работы, он никогда не «собирал материал» в нашем понимании, и такая вот неравная форма общения, когда один спрашивает чуть ли не в манере следователя, а другой отвечает, кажется ему оскорбительной. Он дергается при каждом моем вопросе, в серых глазах проблескивает если и не возмущение, то резкий протест свободного гражданина, не желающего давать кому-либо отчет в своих поступках, тем более в мыслях, потом спохватывается, добрая, слабая улыбка косит рот, и он выфыркивает ответ, сплетает длиннющие пальцы на худом, остром колене, хрустит суставами, сводит узкие плечи, словно собираясь пролезть в игольное ушко, и вдруг откидывается в кресле и устремляет взор мучимого на кресте Себастьяна к потолку, как к небу. А порой он огрызается. Он не дает спуску настырному допросчику и, похоже, очень доволен прочностью своей обороны.

Я и сам отлично сознаю, сколь несовершенен, убог мой метод. Старая пословица гласит: чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть. И это о простом, бытовом, открытом, ничуть не зашифрованном человеке. А чтобы узнать художника, натуру сложную, противоречивую, не желающую раскрываться, все время

скрадывающую себя в защитный панцирь, сколько надо съесть соли? А мне нельзя, у меня гипертония и бессолевая диета. Ну, предположим, я пошел бы на преступление перед своим организмом, но разве дано мне время, чтобы терпеливо выследить этого пугливого оленя. Потому и вынужден я ломиться напролом, хотя прекрасно знаю, что это наихудший способ. Да ведь я и не замахиваюсь на портрет, мне бы хоть эскиз, набросок сделать. А там видно будет: может, я еще побываю в Голландии, может, Боб приедет к нам — он собирается в Москву, и новые переводы его рассказов появятся, — отчего бы не вернуться к этим запискам? А пока продолжаю «допрос»:

— Сколько у вас комнат, Боб?

— Три. — И подскочив как на пружинке: — У вас что — больше?

Успокаиваю, что у меня тоже три. Слава богу, с бытовой стороной дело покончено. Принимаюсь за новую тему: его литературные корни. Но у Боба утомительная манера или ускользать от прямого ответа в деликатные околичности (смысл их: ну разве это так важно? Стоит ли тратить время на подобную чепуху?), или ограничиваться телеграфной краткостью. Приходится настаивать, дробить вопросы, отчего возрастает неприятно-следовательское. Наконец удается установить, что своим учителем он считает Кафку, любит Джойса, Музиля, равнодушен к Прусту. И вот что любопытно: другим своим учителем он считает Чехова, особенно восхищается «открытостью» — недоговоренностью его концовок. А кто родствен ему из современников? Он знает Беккета, Ионеско, но многие другие известные имена вызывают у него подозрительное удивление.

Видимо, и мне не удалось скрыть удивления.

— Подумаешь! — Боб коброй взвился над столом. — Я могу назвать сто имен, которых вы не знаете!

— Несомненно, — согласился я. — Только это не относится к делу.

— Ну да, когда я не знаю — это относится, а когда вы…

— Так ведь это я буду о вас писать, а не вы обо мне.

— А-а!.. Угу!.. — пробурчал он с таким ошарашенным видом, словно только сейчас поверил, что о нем действительно собираются писать, — и кобра свернула кольца.

— Боб, ваш основной литературный прием — абсурд, почему вы избрали его?

— А вы оглянитесь вокруг. Каким еще способом можно изображать эту действительность?

Довольно странное, казалось бы, заявление для писателя

одной из самых преуспевающих стран Европы. Наряду с ФРГ и Швейцарией Голландия сравнительно мало пострадала от экономического кризиса, охватившего Запад. Безработица невелика, а пособия безработным значительны. Цены, как и всюду, очень высоки, особенно на жилплощадь, но высока и заработная плата. От нефтяного «потрясения» осталось лишь здоровое пристрастие к велосипеду, колеса крутят и стар и млад, матери возят младенцев в корытцах, притороченных к багажнику. Города, довольно однообразные (исключение — Роттердам, но о нем особо) и смывающиеся в памяти в один общий город с невысокими, крепкими домами под красной черепицей, с непременными стеклянными башнями и кубами офисов, банков и отелей «Хилтон», с каналами, отражающими космы плакучих ив, — дикие утки, лебеди и водяные курочки сплываются в стаи у мостов в надежде на подачку, — с величественным готическим собором и церквами самых разных эпох и стилей — от романского до модерна, со старой ратушей и живописной площадью перед ней, усеянной голубями, с широкими тротуарами, сложенными плитняком, — рисунок скорчившейся по нужде собаки и ящика возле нее тщетно напоминает любителям четвероногих друзей о правилах гигиены; с замечательными музеями, с богатейшими магазинами, набитыми всем, что делает современную жизнь такой удобной, легкой, нарядной, — так вот, эти основательные, благоустроенные, красивые города, все расширяющиеся и будто стремящиеся сомкнуть свои границы, слиться, подобно тому как они сливаются в памяти, кажутся воплощением незыблемого порядка, уверенности, спокойствия и какого-то оцепенелого довольства. И пока ты не проник хоть сколько-то за плотную пленку обманной видимости, тебе представляется абсурдной мысль, что «прием абсурда» годится для изображения этой ладной жизни. Да нет же, тут нужен добрый старый голландский жанр, слегка, правда, омещанившийся у Метсю, ну и натюрморт, конечно: Брейгель-Бархатный, так любивший цветы, Хода, так любивший усталоматовое серебро.

Но загляните поглубже в глаза обитателей крепких домов под красной, потемневшей от времени черепицей — сколько неуверенности, сколько страха перед будущим прочтете вы там. Разговоры — сплошные жалобы, нытье. Налоги… налоги… налоги… Дороговизна… дороговизна… дороговизна… Куда мы идем?.. Куда мы идем?.. Да идем ли вообще?.. Скорее нас влечет куда-то, как спичечные коробки, окурки, всякий мусор бурливыми весенними ручьями, неудержимо и стремительно несет в сточную канаву. Да, вера в завтрашний день неизмеримо важнее людям

сиюминутного благополучия, а если ее нет, если человек то и дело спрашивает себя, что будет завтра со мной, с моей семьей, с моими детьми, то черная тень простерлась над его изобильным столом, красивым жилищем, теплой постелью, его сны беспокойны, вино отравлено, горек хлеб и мед не сладок, и в каждой радости отстой печали.

Общий климат Европы нездоров, а Голландия слишком маленькая и слишком плоская страна, чтобы ее не продувало насквозь больными ветрами, зарождающимися далеко от ее равнин.

Но вернемся к Бобу ден Ойлу. Иные писатели ломаются, «интересничают под абсурд», проницательный взгляд легко обнаружит подделку, но этот способ литературного изображения мира может быть естествен, как дыхание, органичен, как почерк, и, как, почерк, связан со всей сутью человека. Бобу было девять, когда немецкие бомбовозы растерзали Роттердам.

Он жил в старой части города, приземистой, замшелой, уютной, скопившей множество ценностей, в которых взрослые ни черта не понимали и считали просто хламом: ржавые якоря (среди них один с «Летучего голландца»!), обрывки якорных цепей, увесистые пушечные ядра (их изрыгали пушки Вильгельма Оранского!), уломки чугунных оград, куски черного и белого (кладбищенского!) мрамора, обитая железом дверь в завалившемся, заброшенном доме, которую никак не удавалось открыть, но все мальчишки знали: если уж удастся!.. Вдоль канала, немного отступя от него, заживали чужой век вросшие в землю домишки, одурманенные старостью и непосильным грузом воспоминаний, в них ютились чудаки, бродяги, матросы с разбитого корабля, всякая человечья протерь, что была куда интересней и живописней так называемой чистой публики; там же изгнивали лавчонки, торговавшие всем на свете: от липучих конфет до зубов дракона. За каналом, над ярусами домов, дымились трубы старой фабрички и укладывали слои сажи на крыши и мостовые, на зелень, пробивающуюся сквозь камни, и на листья деревьев — после дождя пониклые ивы роняли тягучие дегтярные слезы. У причалов толкались бортами парусники, моторные лодки, катера, и несметные стаи голубей заливали, как гипсом, белесым, мгновенно застывавшим пометом карнизы и парапеты, тумбы и памятники, флагштоки и мачты, а за этим близким миром уходил к небу другой, исполинский, из стекла и железобетона, мир знаменитых банков, компаний, фирм и роскошных магазинов, переполненных всякой всячиной, объединенной словом «недоступно». А еще был порт, и корабли под флагами разных стран, и веселые матросы с качающейся

походкой, держащие путь к веселым и страшным кварталам, где их ждали девушки, выпивка и поножовщина.

И все оглядье, и то, что за ним, невидимое, но как бы и видимое, настолько привычно глазам, исчезло, превратилось в ничто, в щебень, труху, пыль за какие-то минуты. Бомбежка началась внезапно, и мальчик видел, как опрокидывались в воздухе тела идущих в пике бомбардировщиков и отделялись от них продолговатые темные бомбы; высасывающий душу свист разряжался оглушительным взрывом, что-то принадлежащее земле вместе с черным дымом вздымалось на воздух, тут он глох и слеп, и сердце стучало в горле, и как он очутился в подвале, он и сам не знал.

Содрогались ослизлые стены, что-то осыпалось, крошилось, сорило в глаза, люди причитали, молились, стонали, выли, и он вдруг почувствовал, что на свете нет ни одного близкого ему существа, потому что никто, даже мама, не может защитить его, он один, совсем один, навсегда один, и это было самое страшное.

А потом?.. Что было потом? В том-то и дело, что ничего не было. Ни домов, ни лавочек, ни пристани, ни набережной, ни фабричных труб, ни деревьев, ни голубей (они потом вернулись и были почему-то черные, как галки). Были развалины, воронки, горы мусора, дым и мертвецы. Его удивило, почему среди убитых столько голых. Людей вышибало из одежды взрывной волной.

Надо ли говорить о том, какое впечатление произвело это на душу девятилетнего мальчика, тонкую душу художника, хотя он, разумеется, и не подозревал, что он художник? Но, как ни велико было потрясение, на молодом хорошо заживает, и Боб, наверное, выкрутился бы, но через пять лет, в исходе войны, немцы повторили удар. Потом они вразумительно объясняли налет желанием устранить Роттердам как конкурента Гамбургу. Они метили по порту и верфям, но сильный ветер с моря сносил бомбы, и мертвый город убили еще раз. В пятнадцать лет Боб ден Ойл утратил доверие к небу, к его предательской голубизне.

Он уже не верил ни зримой прочности вещей, ни в охраняющую силу и мудрость отцов, ни в доброту пленивших в детстве сказок, ни в то, что есть некто, наблюдающий земной порядок, ни в ответственность человека, ни в смысл и цели бытия. Непрочный, картонный, хлипкий и свирепый мир был безумен и беспощаден к себе самому.

Но надо было жить дальше в этом мире, какой он есть, другого не дано, и Боб жил, и постепенно, не скоро какие-то утраченные ценности возвращались, каким-то нашлась замена, с чем-то пришлось смириться, сжиться, как сживается человек с осколком, лежащим под сердцем и годами не напоминающим о

себе, чтобы вдруг вонзиться иглой в средоточие жизни. Но это все в будущем…

Время после войны наступило очень деловое, энергичное и коммерческое, и Боб чувствовал себя в нем одиноко. Ему казалось, что люди не потрудились даже оглянуться вокруг, проститься с мертвыми, подумать тихо и скорбно, почему обратилось в руины и прах их прошлое, хотя бы просто глубоко, глубоко вздохнуть. Нет, они сразу принялись действовать, суетиться, обогащаться — корысть захлестнула даже юных, — наверстывать упущенное за войну. Конечно, это говорит о неистребимой жизнестойкости и жизнелюбии человека, но Бобу с того не легче, он не находил себе места в безоглядно ломящемся вперед, сметающем все на своем пути бурном потоке. Он кое-как закончил школьное учение и, не задаваясь мыслью о высшем образовании — и не только по недостатку средств, а и потому, что не видел в нем смысла, — пошел работать в контору пароходной компании. Он стал мелким служащим, вроде Яхека, одним из тех, о ком так интересно писать, но кем так неинтересно быть.

После скучной, не утомляющей, а отупляющей работы он медленно и бесцельно тащил по улицам свою длинную вечернюю тень. Город стремительно отстраивался, но из развалин вставал не его Роттердам, а какой-то новый, могучий, поражающий воображение, чужой город. Своим стал страшный памятник «Май 1940», поставленный знаменитым Цадкиным на бомбовом пустыре, который еще не скоро станет площадью. Трагедия дважды уничтоженного города влита в скрученного мукой, с пробитой, разорванной грудью и дико вывернутыми суставами бронзового гиганта. Он неописуемо страшен, чудовищен, как горячечный бред, но он и до стона прекрасен, ибо, уже убитый, длит миг, отобранный у вечности, чтобы, обратившись к небу запрокинутым лицом и взброшенными вверх руками, послать туда не мольбу, не вопль жалобы и боли, не проклятие, а то, что куда сильнее: счет крови. Его лица не видно, оно всегда, где бы ни стояло солнце, скрыто тенью рук, лицо как бы уничтожилось в муке. Ночами, в снах Боба бронзовый страдалец обретал лицо — его лицо…

Бытовое одиночество нарушилось женитьбой и рождением сына. К этому времени он уже пробовал писать. В 1958 году появился в печати его первый рассказ «Завтра, если будет светить солнце». К слову, одна из самых горьких утрат Боба — потеря уверенности в том, что и завтра солнечный свет озарит землю. Наконец-то он почувствовал, что порвал тенета одиночества в главном для себя смысле и его растерзанная войной суть еще

может срастись. Рассказ остался почти незамеченным, как то обычно и бывает с первым рассказом, но не беда — важна сама возможность быть услышанным, уже это дает надежду, силу и веру, что ты больше не один. Ну, хоть в чьем-то сердце отозвалось твое слово?..

Оно отозвалось в сердце его собственной жены, внимательно и неназойливо следившей за литературными опытами мужа. Она сказала: «Плюнь на свою контору. Пиши. На жизнь я заработаю». И Боб ден Ойл принял жертву. Через два года после этого разговора вышел его первый сборник рассказов «Птицы смотрят», в котором было заложено все то, что, развиваясь и обогащаясь жизненным и литературным опытом, сделало его одним из лучших рассказчиков в голландской литературе.

Рассказ, давший название книге, был посвящен теме, наиболее близкой Бобу ден Ойлу с юношеских лет: одиночеству и его преодолению. Жил одинокий человек и любил только птиц. Он был так одинок, что решил уехать в Португалию, потому что дальше ехать некуда. Но там, в полнейшей изоляции, его любовь к птицам вспыхнула с удвоенной силой. В городе птиц не было, он поехал на окраину и убедился, что птицы исчезли. У человека появилась в жизни цель: сделать так, чтобы птицы опять были. И он стал счастлив и уж не чувствовал себя одиноким.

Был ли счастлив Боб ден Ойл, осознав литературу как единственную цель в жизни, — не знаю. Да и бывают ли вообще счастливые писатели? Я имею в виду не тех, кто, поплевывая, заполняет бумагу словами, а тех, для кого непосильное занятие литературой — рок. Счастливому человеку — рай на земле. А в раю литература не нужна, это уж точно. Но известное удовлетворение Боб, несомненно, чувствовал: премия Амстердама была признанием его профессиональности. Жена надсаживалась недаром.

Вновь мы встретились с Бобом через несколько дней в Роттердаме. Я уже успел расшибиться в кровь о монумент Цадкина и усиленно врачевал себя роттердамскими видами, чуть подпорченными строящимся метро, перепахавшим город на военный лад, когда в конце улицы появилась длинная фигура Боба. Высокие люди кажутся особенно высокими в помещении, расшибая лоб о притолоку, но Боб нарушил это правило: между двумя рядами домов он казался еще выше, чем при первой встрече в домашних условиях. Он медленно плыл над уличной толпой, принадлежа ей нижней половиной туловища, а вокруг его головы парили голуби. И улыбка уже не казалась случайной, не туда забредшей гостьей, готовой мгновенно слинять в самолюбивый нахмур, ее прочно держали сухие, обветренные

губы, и в глазах было что-то такое, от чего у меня потеплело на душе.

Боб сводил нас в «свой» Роттердам, вернее, туда, где некогда был его Роттердам. Все-таки кое-что тут осталось и от тех домишек, и от тех лавчонок, и от того замечательного хлама, хотя, быть может, и домишки и лавчонки восстановили себя из останков былого, а хлам скопился в войну. Но мне стало легче представить себе мир маленького Боба.

К сожалению, разговора не получилось, Боб, очевидно, переоценил свою стойкость и непробиваемость, он притемнялся, замкнулся, а там и вовсе уполз в раковину, и вытащить его оттуда не было никакой возможности.

Он сам вылез на свет божий в Торговом центре — гордости Роттердама, шедевре современной ансамблевой архитектуры, совершенном и целесообразном, как космическая ракета. Он постарался возместить потери в общении, какие мы понесли у осколков его детства. К тому же в нем проснулся здоровый практицизм, и он решил показать, что тоже не лыком шит и не витает в облаках, а прочно вколачивает подошвы в землю, ушлый роттердамец, один из тех расторопных голландцев, что от века умели и зашибать, и считать деньгу.

— Тут все бесконечно дорого, — рассуждал Боб, пока мы медленно и оторопело брели вдоль витрин, вдыхая миндальный запах гвоздик в каменных вазонах. — У меня есть гонорар в Советском Союзе. Я думаю там одеться. У вас наверняка все дешевле.

— Разумеется! — И я вспомнил фразу одного остроумного писателя: «Манекенам было стыдно, что они так плохо одеты». — Боюсь, не окажется вашего размера. Мы народ кряжистый и не особо рослый.

— Досадно! — поморщился великий практик и островидец. — Я так на это рассчитывал. А машину?.. — сказал он неуверенно.

— Вы хотите на гонорар за три рассказа купить машину?

— А что — не хватит?

— Знаете что, — осенило меня, — купите лучше русскую матрешку.

— Это одна в другой? — улыбнулся Боб. — Я давно мечтал о такой матрешке. А мне хватит денег?

— Хватит!.. — уверенно сказал я.

Боб жил недалеко от центра, но словно бы и далеко: здесь было тихо, довольно пустынно и сумеречно, улица сама себя погружала в тень. Удивительно, как сумел он выкроить посреди щедро озвученного движением и строительством, многолюдного

города такой укромный уголок. Напротив его дома соборно высилось торжественное здание банка.

— Здесь я держу свои сбережения, — с усмешкой заметил Боб.

Нижний этаж дома, где жил Боб, занимал обширный магазин; темнота еще не наступила, а уже фосфоресцировали двухметровые буквы его названия: *Климакс*. На витринах множество изделий из нержавеющей стали и алюминия, кожи и гипса, различное электрооборудование, сложные аппараты с пультами управления, что-то вроде космического скафандра и шлемофона, катапультирующее устройство и водолазный костюм. Я подозрительно глянул на Боба: не примешалась ли к трезвым голландским будням какая-то гофманиана в современном оформлении, порожденная силовым полем его неукротимой фантазии? Но безмятежное, простодушное и отрешенное лицо Боба рассеяло подозрения.

Мы поднялись по узкой лестнице на пятый этаж — лифта не было — и вступили в жилище Боба, которое он с некоторой дозой самодовольства назвал при первой нашей встрече «типично голландским интерьером». Тут не было ничего от жирного голландского быта: ни мягкой мебели, ни дельфтских ваз, ни горок с фарфором и хрусталем, ни картин и картинок в багетных рамах, ни тех бесчисленных безделушек, которые якобы украшают жизнь, на деле же засоряют. Спартанская простота, ничего лишнего, человеческий дух может спокойно витать по всем трем комнатам — общей и двум спальням — и ни за что не зацепиться. Мозговой центр дома — маленький кухонный столик, за которым Боб работает, у него нет кабинета.

Мы познакомились с женой Боба: сильная проседь в коротко стриженных волосах, мальчишеская худоба, синие застиранные джинсы, крепкое рабочее рукопожатие узкой руки — и с сыном: метр девяносто пять, длинные волосы, синие застиранные джинсы, босые ноги пугающего размера и подобающая юношескому возрасту чуть надменная хмурость. Есть еще два члена семьи, притворившиеся кошками. Охолощенный дымчатый кот пошел в тело: велик, раскормлен, ленив, густая шуба делает его еще толще, ласково-безразличный сибарит, он нежится, потягивается, выбрасывая палками лапы на холщовых подушках, лежащих прямо на полу. Кошка, белая с черными пятнами и тоже насильственно лишенная способности к деторождению, еще больше и увесистей кота; исполненная скептического, недоброго интереса к окружающему, она все время просидела на старом проигрывателе, презирая нас от всей кошачьей души. Черное пятно загибалось с шеи на скошенный подбородочек, образуя там

нечто вроде бороды, под розовой кнопкой носа помещался черный чаплинский квадратик. Человечье лицо развязно выглядывало из кулачка круглой морды.

У кошек была жутковатая манера вдруг уставиться тебе в лицо и неотрывно смотреть, упруго сужая прорезь зрачка, пока он вовсе не исчезал в слившемся в сплошное круглое пятно аквамариновом райке. Но кошки продолжали видеть этими слепыми кружками, их уши и шерсть на загривке отвечали каждому вашему движению, и мороз по коже подирал от всевидящей слепоты. Даже шерри, которым Боб как-то пугливо угощал нас, не могло разогнать густого мистического тумана. Неуютно было за журнальным столиком, заменявшим обеденный. Ден Ойлы совсем не бытовые люди, все трое. Сильная творческая воля внешне самого слабого и непрочного из них пронизывает дом почти мучительным напряжением.

А разговор шел, разумеется, о литературе. Листая свой новый сборник, Боб коротко излагал содержание рассказов, о которых мне хотелось знать как можно больше. И будто заворожило меня, таким я стал покладистым, все принимающим, даже заведомо чуждое, и ничего не мог поделать со вселившимся в меня соглашателем.

— Один молодой человек прочел в газете, что продается орган, и сразу пошел туда. (И правильно сделал. Любой разумный человек поступил бы так же на его месте… Легко ли в наше время купить орган?!) Он пришел, а там вовсе не орган продается, а контора по ограблениям. (Надо было это предвидеть. Ну кто, скажите на милость, будет продавать орган частному лицу?) Он сумел вырваться и при этом покалечил кого-то… (Парень, видать, не промах! Умеет за себя постоять. Так им и надо, будут знать другой раз!) Он ушел, а совесть точит. Из-за того, покалеченного. Как жить дальше? (Действительно, проблема: вроде бы и не виноват, а поди ж ты!.. Вот куда заводит человека желание купить орган…)

Мерещится мне или на самом деле кошка насмешливо фыркает и оглаживает лапой черную бороду?

— Молодой человек страдал умственным расстройством. Он решил обратиться к врачу…

Очень предусмотрительно, одобряю я про себя. И тут мне начинает казаться, что и у меня неладно с головой — не выдерживает старый праведный реалист напора абсурда. А занедуживший мозгами молодой человек так и не попал к врачу — он старался держаться знакомых улиц, а они к врачу не вели.

…Мы шумно и сердечно прощаемся в прихожей. Боб ден Ойл галантно подает моей жене пальто, она любезно благодарит, и мы

выходим. В машине обнаруживается, что на жене пальто Боба. Он перепутал. Но как не заметила жена, что пальто ей неимоверно велико, как не заметили мы: наш друг — дипломатический стажер — и я, что полы волочатся по земле, — это необъяснимо. Жене хочется вместе с Бобом посмеяться над забавной путаницей, и она отправляется сама для обмена. Возвращается в своем, мы трогаемся, и тут стажер с ужасом замечает, что оставил у Боба черный плоский чемоданчик-«дипломат». Он не расстается с этим чемоданчиком, придающим ему солидность и вес. Там нет ничего секретного: книжки Боба, сегодняшние газеты, земляничная жвачка, баночка паштета и сухие хлебцы, но будущий Чичерин в отчаянии. Он усиленно тренирует свою память, внимательность и, разумеется, бдительность, и вдруг такой афронт. А что, если б там оказался договор о ненападении с княжеством Лихтенштейн? В расстроенных чувствах отправился он за чемоданчиком.

Наконец мы тронулись. Но странные чары не развеялись. Мы проехали всего лишь два-три квартала, и жена радостно воскликнула:

— Вот здорово, уже Гаага!

— С чего ты взяла?

— А вон Дворец конгрессов. — Она показала на залитое оранжевым светом величественное здание.

— Господь с вами! — разбитым голосом сказал стажер. — Это клуб гомосексуалистов «Ганимед»…

* * *

…Я не люблю категорические утверждения там, где дело касается искусства. Например: писатель не может без питательной среды, подразумевая под этим в равной мере круг людей, ценящих, понимающих его, и собратьев по перу, близких мировоззрением, отношением к жизни и литературному делу. Почему не может? Может, коли так складываются обстоятельства. Безмерно одинокий Франц Кафка, а из новых — Сэлинджер, избравший добровольное затворничество. Я думал, что Боб ден Ойл принадлежит к таким одиночкам и ему надо черпать мужество в себе самом и в любви-жалости родных людей, но ошибся.

Я не сказал, что во время нашей экскурсии по Роттердаму Боб завел нас в новый, знаменитый на всю Европу концертный зал. Не стану расписывать архитектурные и прочие достоинства выдающегося сооружения, скажу лишь, что это не только помещение для концертов, но и культурный центр Роттердама.

Здесь устраиваются самые разные выставки: от картин до лыж, проводятся дискуссии, обсуждения новых явлений в музыке, литературе, живописи, здесь же «имеют место», пользуясь языком официального велеречия, ежегодные поэтические форумы.

Боб ден Ойл познакомил меня с главой поэтического штаба, устроителем международных сходок стихотворцев, бескорыстным энтузиастом, работающим не покладая рук на общественных началах ради великого дела сближения людей. Этот славный человек предложил устроить мой литературный вечер в одной из народных библиотек города. Вечер состоялся. О нем было объявлено в газетах, и небольшой зал, которым располагает библиотека, не вместил всех любителей российской словесности. Сюда съехались слависты из Амстердама, Утрехта, Лейдена, пришли местные литераторы, среди них один, самостоятельно изучивший русский язык, учителя и просто люди, которым это почему-то было интересно. Явился сияющий Боб ден Ойл со всем семейством.

До того как вечер начался, мы долго томились в битком набитом помещении библиотеки среди стеллажей, шкафов и полок с книгами, где было не присесть и нечем дышать, до одурения накачиваясь черным кофе — огромный кофейник не сходил с электрической плитки. И тут я увидел на столике, возле деревянного ящичка с карточками абонентов, фотографию Боба, очень похожую на ту, что помещена в «Иностранной литературе», и очень непохожую на живого Боба, рядом лежали газетные вырезки опять-таки с портретом Боба и небольшая книжка, изданная в 1975 году, в обложке цвета голубиного крыла, на которой было написано крупно: «Боб ден Ойл. Люди» — и помельче: «Пятнадцать портретов». Он не дарил мне этой книжки и даже не упоминал о ней в разговоре.

— Любите вы его? — спросил я библиотекарш.

Их было две: одна пожилая, но очень моложавая, розовая, бодрая, другая молодая, но старообразная, бледная и пониклая, как без времени увядшая лилия.

— Он — наш! — ответили в голос, но первая вскинула голову и засияла глазами, а вторая потупилась.

«Наш»… Хорошо это прозвучало. Вот здесь, в этой непривилегированной, общедоступной народной библиотеке, где не только берут книги для чтения, но сходятся люди, любящие литературу: и работающие профессионально, и лишь пробующие свои силы в низании слов, а также группирующиеся вокруг рабочего журнала «Вак», здесь Боба любят и считают своим.

— А что это за книга? — на обороте супера Боб в рубашке и белых брюках, очки на носу, играл в какие-то супершахматы на

гигантской доске, уложенной посреди лесной поляны.

Первая (радостно). Это новая книга Боба!

Вторая (жалобно). Это совсем новый Боб.

Я (нахально). Подарите мне эту книгу. Я собираюсь писать о нем.

Первая (доверчиво). А вы его любите?

Вторая (умоляюще). Вы хорошо о нем напишете?

Я (безответственно). Еще бы!

Друзья-стажеры перевели мне рассказы, вернее сказать, те почти стенографически записанные подлинные жизненные истории, которые составили эту книгу. До того бесхитростны по исполнению эти истории, до того свободны от вмешательства авторской фантазии, направляющей воли, вообще от всякого творчества, что иные превосходят в своем невероятном простодушии самый беззастенчивый абсурд. Мне даже подумалось поначалу, что такова внутренняя установка Боба: дать окружающей его действительности самой доказать свою абсурдность. Мельтешня, жалкие потуги разных малопримечательных, случайных людишек, выхваченных Бобом наугад из мировой суеты, растворяются без следа в океане бесцельности, в котором они барахтаются от рождения.

Но когда знакомишься со всей книжкой, то обнаруживается, что дискредитация бытия вовсе не входила в намерения Боба ден Ойла. В его книге встречаются люди, которые находят свое место в жизни, обретают веру в себя, хотя бредут почти вслепую, спотыкаясь, падая, набивая шишки, но это к делу не относится. Смысл непохожей на все написанное Бобом прежде книжки в освоении новой манеры. Он начисто отказывается от условности, от всех привычных приемов, которыми владеет мастерски, стремится к предельной простоте, краткости, доходчивости и чтоб ничто не стояло между ним и действительностью. Это какой-то аскетический реализм.

И хотя победы он тут — увы! — не одерживает, сама попытка его заслуживает внимания и уважения.

Почти каждого, даже самого сложного писателя с возрастом, если постарению сопутствует не угасание творческих сил, а накопление души и разума, заворачивает к простоте. Ему хочется быть понятым, хочется все свое, узнанное, выношенное, выболенное, излить в других, в мир, который переживет его. Это и есть бессмертие, а не памятники и мемориальные доски. Надменной и упоенной юности во власти вдохновенного и темного бормота наплевать на доходчивость, на отзвук в чужом сердце, она слышит лишь собственное переполненное, сильно и гулко бьющееся сердце. Как непрогляден был ранний Пастернак и

как прозрачен, родниково прозрачен стал он в последних песнях.

Но вообще-то разговор о простоте в искусстве совсем не так прост. Поздние стихи Мандельштама куда труднее для восприятия, нежели эллинский ясный «Камень» его начала. Но сам Мандельштам, без сомнения, воспринимал их иначе: как предельное сближение своей сути с сутью мироздания, как высшую, бесхитростную простоту, свободную от котурнов, от книжных, исторических и мифологических связей. Но не будем углубляться в дебри, ибо в нашем случае мы имеем дело с прямым и четким движением писателя к простоте.

К сожалению, Боб ден Ойл слишком заторопился в простоту, в обыденность, запрыгал длинными ногами даже не через две-три ступеньки, а через целые лестничные пролеты, но в этом нет большой беды, если иметь в виду судьбу писателя, а не мелочь частной неудачи.

Лев Толстой говорил когда-то о популярнейшем в ту пору И. Дружинине, авторе модного романа «Полинька Сакс», что не верит в него, поскольку Дружинин не способен отказаться от всего ранее написанного и начать сначала. Уж он-то, Толстой, знал о себе, что способен на это, хотя за плечами у него было нечто посерьезней «Полиньки Сакс». Вот эта столь ценимая Толстым способность писателя к обновлению присуща Бобу ден Ойлу. За маленькой книжечкой «Портреты» — смелый, широкий духовный жест. Трудно сказать, по какому пути пойдет Боб ден Ойл, но он идет, а не стоит на месте — вот что важно.

Я пишу это и вспоминаю идущего Боба, идущего в прямом, физическом смысле, по темной, секомой мелким, но напористым дождиком улице, сперва вровень, потом следом за машиной, увозящей меня с того роттердамского вечера. Машина то и дело притормаживает, лавируя среди людей, дружно окуполившихся черными глянцевыми зонтиками. У Боба нет зонтика, голова непокрыта, но он не обращает на это внимания. Он держит глазами машину, улыбается и слабо машет рукой. И я, опустив стекло, машу ему и улыбаюсь, но мне грустно. Грустно, что он сейчас станет воспоминанием, этот чистый, бескорыстный человек, ничего не выгадывающий у жизни, кроме литературы, кроме права теплить свою свечку, отдавать, ничего не ожидая взамен: ни денег, ни почестей, ни власти, ни славы. И я вспоминаю, что апостолы тоже не были ни гениями, ни тайными советниками, ни правителями, ни кавалерами орденов, а простыми людьми, рыбаками, и нравственная сила их — от бога.

Мы уже далеко, но долгая тень Боба, раскатанная по влажной мостовой фонарем, бежит за нами, бесконечно удлиняясь, слабея, редея, но не угасая совсем; пренебрегая углами и поворотами, она

простирается за улицу, за Роттердам и, прозрачная, еле угадываемая, втягивается в мой сегодняшний день.